## И возвратится прах

И возвратится прах в землю, чем он и был…

Еккл. 12:7

Шрапнель рвется пачками – по четыре. Тах! Тах! Тах! Трах! Осколки звенят – будто болотные комары в июле. Воздух дрожит, как густой кисель, нашпигованный металлом.

Тах! Тах! Тах! Трах!

Глаз успевает уловить только стремительные черные тени, которые проносятся мимо – слева, справа, над. Словно гигантская, напившаяся крови мошкара мечется вокруг добычи.

Тах! Тах! Тах! Трах!

Иногда осколки взвизгивают у виска – сердце, сжавшись, ухает вниз – и впиваются в глину окопа за спиной, исходя паром. Кто-то из солдат лихо пытается запалить о горячий металл кривую самокрутку – и издает возмущенный вопль, когда следующий осколок, жужжа, на излете щелкает его по каске.

Тах! Тах! Тах! Трах!

Штабс-капитан Лопухин невозмутим.

– Берегите голову, поручик, – лениво цедит он. – Ну не высовывайтесь, право слово. Какая разница, где упал снаряд? Черт с вами – но вы же нас наводчику сдадите.

Лицо у штабс-капитана – лошадиное. Длинное, с тяжелой челюстью и крупными передними зубами под белесой щеточкой усов. Глаза – мутновато-голубые, с карими крапинками, словно засиженные мухами, – навыкате, левый чуть косит, то и дело всматриваясь куда-то за плечо собеседнику.

Навицкий никак не может привыкнуть к этому левому глазу. Ему кажется, что тот живет своей жизнью, присутствуя в беседе безмолвным третьим. Безмолвным – но всепонимающим, всезнающим и всепредвидящим. Видевшим – или видящим – что-то, что недоступно им всем.

Тах! Тах! Тах! Трах!

– Глотните, поручик, – Лопухин протягивает солдатскую фляжку.

Навицкий берет ее с недоверием и опаской.

– Пейте, пейте, – усмехается штабс-капитан. – Только осторожно, это забористое пойло.

– Откуда оно… у вас?

– Не бойтесь, не у мертвеца взял. Архип – ну тот, рябой – отдал. Сказал: «Мы-то привычные, а вашблагородиям надо-ть шо-то для сугреву», – Лопухин старательно коверкает слова, пытаясь подражать простонародному говору. Выходит у него дурно и фальшиво.

Навицкий покорно подносит фляжку к губам. Его руки трясутся, горлышко стучит о зубы так, что отдается болью в челюсти. Он глотает что-то колючее, обжигает глотку, задыхается, на глазах выступают слезы. Он заходится в кашле.

Тяжелые, будто каменные, тучи медленно плывут на восток. Кажется, что они волокут за собой вяло сопротивляющуюся землю.

Тах! Тах! Тах! Трах!

Белое пятно германского привязного аэростата колышется далеко-далеко на севере, как взятое в плен облако.

Тах! Тах! Тах! Трах!

Вссссиу! – раздается тонкий свист. С той стороны взлетает осветительная ракета – солнце, созданное людьми из пылающего магния. Вспышка резко, как на гравюре, очерчивает колючую проволоку, повисшие на ней изломанные, изорванные, исковерканные тела – они похожи на вывешенные на просушку тряпки – изрытую ямами, канавами и воронками землю.

Где-то далеко-далеко начинают бить пушки – размеренно, гулко, словно гигантские часы.

Бу-бух! Бу-бух!

Тах! Тах! Тах! Трах!

Бу-бух! Бу-бух!

– Наши? – спрашивает Навицкий, крутя головой. Он никак не может уловить, откуда исходит этот глухой, отдающийся где-то в легких, звук. Тот словно и слева, и справа, и вверху, и снизу. Будто он приходит из ниоткуда – и так же уходит в никуда. – Наши же, да?

Лопухин прислушивается, напряженно хмуря брови.

– Не знаю, – признается он. – Не знаю. Хорошо бы… Когда нам обещали прислать подкрепление, поручик? На той неделе? На позапрошлой?

Навицкий молчит.

\*\*\*

Грязь. Кругом сплошная липкая грязь. Разверзлись хляби небесные и ответствовали им хляби земные. Дождь льет и льет всю ночь – тяжелый, холодный, весь какой-то маслянистый.

Наутро линия бруствера обваливается и превращается в вязкую тину под ногами. Солдаты, сопя и ругаясь, вычерпывают воду.

Дождь студит суставы, проникает под одежду, под белье, под кожу, наконец, вливается в вены вместо крови, плещется в черепной коробке.

Они сбились в окопе кучей, сгрудились, как скот в холода. Сплелись в единое многоголовое, многорукое, многоногое существо. То и дело по нему проходит судорога – это кто-то пытается выбраться, отойти помочиться или размять затекшие ноги. Липкий, влажный человеческий ком держит цепко и выпускает неохотно.

Махорки нет, закончилась долгие и тягучие дни назад, поэтому солдаты курят какую-то дрянь – сушеные траву и листья, собранные в мертвом лесу, что чернеет позади. По окопу стелется синюшный едкий дымок, от него чешутся и слезятся глаза, разбухает нос, во рту скапливается горькая слюна.

Молоденький рядовой зевает – широко, протяжно, размашисто крестя рот.

– Филька, глотку-то закрой, – недовольно отзывается рябой Архип. – Мух не водится, так пуля залетит. Забрызгаешь нас-то.

Его корявые, неуклюжие пальцы с удивительной легкостью управляются с маленьким кисетом – бережно ухватывают щепоть мерзкой травяной смеси, тонкой ровной струйкой насыпают ее в самокрутку, прихлопывают края грубой бумаги.

Навицкий с изумлением, словно видит в первый раз, смотрит на свои руки. Где они, те тонкие пальцы, которые так ловко бегали по клавишам рояля? Где девичье-нежная, молочная кожа, которой он втайне гордился? Загрубели, растрескались, покрыты слоем грязи. Земля въелась в кожу, земля, та самая, что окружает их, та самая, что хрустит на зубах, что плещется на дне кружек, что выходит с кашлем, соплями, слезами, мочой – та земля, которая, кажется, давным-давно стала их частью – большей частью.

– Хороший ветер, – говорит Архип, затягиваясь.

– Почему? – ежась, спрашивает Навицкий.

– В сторону колбасников дует.

– И? – он никак не может проникнуть в бесхитростную логику солдата.

– Ну так это-ть… – тот, в свою очередь, удивлен бестолковостью офицера. – Вонь-то от нас к ним и пойдет. А не от них – к нам.

Навицкий знает, что в окопе смердит. Здесь разит мочой, дерьмом, кишечными газами, гниющими ранами, вонючей махоркой, тухлым супом, дохлыми крысами... Он знает – но уже давно перестал ощущать эту вонь, принюхавшись, смирившись и, как знать, может быть, тоже начав источать этот смрад.

Архип жует самокрутку, наслаждаясь каждой каплей терпкого дыма. У него нет переднего зуба, широкоскулая, грубо слепленная физиономия изрыта старыми оспинами, кончик носа стесан шальной пулей. Навицкий смотрит на солдата и муторная тоска поднимается из желудка и подкатывает к горлу – неужели и он сам уже выглядит подобным образом? В маленькое тусклое зеркальце он может разобрать лишь общие свои черты – вот шрам через переносицу: царапнуло осколком, вот родинка над правой бровью – кстати, откуда она, разве была у него раньше? Он слюнявит палец и пробует оттереть бурое пятнышко – может, то всего лишь присохшая глина? – но оно не поддается.

Надо попросить зеркальце у Лопухина – у того оно не казенное, а взятое из дому, в серебряной оправе, с ладонь. Лопухин бреется перед ним каждое утро, упорно скобля щеки и ополаскиваясь грязной ледяной водой. В воде столько песка, что Навицкому кажется: бритва и не нужна вовсе, одним умыванием можно стесать любую щетину.

Он идет искать штабс-капитана.

Лопухин озабочен, он считает что-то на пальцах и недовольно морщит лоб.

– Как давно нам привозили еду, поручик? – спрашивает внезапно.

Навицкий начинает копаться в памяти.

– Неделю назад? – робко предполагает, впрочем, уже понимая, что ошибся.

Лопухин качает головой:

– Нет, точно не неделю. Может, месяц?

– Может и месяц, – соглашается Навицкий. – А что?

– Хватит ли пайка до следующего подвоза? Дежурный сказал, что осталось два ящика консерв, пол-ящика концентрата, да чая и прочего по мелочи. Протянем ли?

– Можно урезать порции, – предлагает Навицкий.

– Протянем ли? – повторяет Лопухин.

Навицкий прислушивается к себе. Сегодня он лишь завтракал – да и завтракал ли? Это было так быстро и впопыхах, что совершенно не отложилось в памяти… Галета с чаем? Кусок холодной говядины с хлебом? Он не помнит, совершенно не помнит – но при этом вовсе не голоден.

– Протянем, – уверенно отвечает он.

Лопухин растерянно смотрит ему куда-то за плечо.

Увязая по щиколотку в жадной, чавкающей топи, к ним подходит десяток солдат.

– Ваше благородие, разрешите обратиться? – робко спрашивает один.

– Валяй, – машет рукой Лопухин.

Солдат мнется, оглядываясь на товарищей.

– Ну давай, не томи.

– Ваше благородие, как вы считаете, когда разрешат могилы перепахать?

– Что?

– Могилы когда можно будет распахать? Земли много, пропадает зазря…

– Могилы?

– Ну не наши же, – обижается солдат. – Немецкие…

– Пошел вон, – устало говорил Лопухин.

Солдаты послушно разворачиваются и так же, вперевалку, уходят обратно – к товарищам, которые жадно ждут ответа.

Навицкий смотрит им вслед.

– Скажите, штабс-капитан… – начинает он, но тут же забывает, о чем хотел спросить: странный запах едва-едва касается его ноздрей.

– Что такое, поручик?

– Мне кажется... – Навицкий подбирает слова – запах слишком необычен для этого места, но он узнает его, определенно узнает! – Мне кажется, пахнет ананасами...

– Ананасами? Что за черт? – Лопухин поднимает голову и внюхивается в воздух. Сейчас он похож на породистую борзую – весь подобранный, напряженный, худое лицо сосредоточено, ноздри трепещут.

Запах усиливается.

– Черт! – восклицает Лопухин. – Это же слезоточивый газ! Всем надеть маски!

Солдаты повинуются неохотно: в окопе и так сумрачно, а грязные, исцарапанные стекла быстро мутнеют. Один из них с негромкой бранью срывает противогаз, еще трое следуют его примеру.

– А ну надеть, быстро! – рявкает Лопухин, приподняв свой на секунду. И тут же отрывисто поясняет Навицкому: – Фосген могут пустить. Или еще какую дрянь.

И словно в ответ на его слова где-то совсем рядом слышится шипение – и сквозь ананас доносится запах свежескошенной травы.

– Фосген, – глухо говорит Лопухин.

Они сидят в окопе, прижавшись друг к другу, едва различимые в серо-зеленом дыму – жуткие, призрачные фигуры, с хоботами вместо носов и ртов, с мутно поблескивающими буркалами на пол-лица.

Дышать в противогазе трудно – и страшно. Лицо стянуто до онемения, в затылке пульсирует ноющая боль, в висках колотится жгучий комок – кажется, что голову кто-то надувает через трубочку, как мальчишки на болоте надувают жаб.

Сознание приходит и уходит рывками – о том, что на секунду терял его, понимаешь по мгновенно раскисшему телу, по желчи, заполнившей рот, по тяжелым и вялым векам.

Где-то там, наверху, пулемет хохочет мертвым смехом, его свинцовая слюна орошает окоп.

Кто-то из солдат не выдерживает. С глухим криком сдирает маску, судорожно глотает отравленный смрад, перебирает руками, словно силясь взобраться на невидимую лестницу.

Товарищи хватают его, прижимают к земле, пытаются напялить противогаз обратно. Маска тугая и неудобная, шланг выкручивается и лопается на сгибе, солдат выгибается, как пораженный столбняком – и рукой сбивает маску с одного из своих спасителей. Брызгами разлетаются стекла очков, слышится брань – и паникер утихает, успокоенный ударом кулака.

Они обходят окоп спустя шесть часов, когда в воздухе остается лишь привкус предательской сладости. Ветер отнес облако газа прочь, к искалеченному, изуродованному лесу – яд выгнал из нор чудом уцелевших зверьков, отравил, скрутив смертной мукой, и бросил, околевших, с оскаленными зубами и вытекшими глазами. Навицкому кажется, что ему в спину давят десятки мертвых и жадных взглядов. Он трясет головой, трет виски – почему-то не ощущая прикосновения к правому – и покорно плетется вслед за штабс-капитаном.

– Не унывайте, поручик, – говорит Лопухин. – Как посмотреть – у нас здесь все удобства. Вода, газ... Душ вот тоже. Правда, твердоватый. Я бы даже сказал, металлический. Зато прочищает – будь здоров.

Навицкий неожиданно для себя прыскает коротким смешком. Лопухин улыбается.

– Ну видите, поручик, – говорит он мягко. – Во всем можно увидеть хорошую сторону.

Давешний паникер выжил. Он блюет и кашляет, выхаркивая зеленоватые сгустки, поперек лба тянется рваная рана – видимо, все-таки приложили от души – но он жив и даже робко улыбается, благодаря товарищей за помощь. Он избегает смотреть в угол окопа – там скрючившись, впившись пальцами в землю, покрытый пеной и желчью, лишь чуть прикрытый какой-то дерюгой, лежит труп незадачливого спасителя. Рядом с ним – уже никому не нужный противогаз с разбитыми очками.

– Вот же черт, – говорит Лопухин. – Вы только посмотрите, поручик, медные пуговицы совершенно позеленели.

\*\*\*

Луна восходит медленно, неохотно – она похожа на огромный раскаленный медный пятак. Красноватый свет заливает все вокруг – словно кто-то потехи ради плеснул в таз с кровью ведро воды, разбавив до багрового морса.

Легкое шуршание доносится оттуда, с нейтральной территории. Навицкий знает: то шелестят разлагающиеся трупы. Они источают гнилостный, мертвый запах – тот поднимается легким туманом. Так парит озеро после теплого летнего дождя.

Окоп наполнен негромким солдатским бормотанием.

– А у колбасников, говорят, окопы – чудо. Шире и глубже, чем у нас, ровные, притоптанные, песком присыпаны… Ступеньки обточены. Лежанки удобные, а на них солома…

– Откуда знаешь-то?

– Да земеля рассказывал. Они братались с немцами, их в окопы и провели.

**–** А еще что говорил? Как живут-то там?

«Живут, – стучит в висках у Навицкого. – Не «воюют», а «живут»».

– Да хорошо, черти, живут… – вздыхает рассказчик – кажется, это Архип. – Тепло, светло, просторно, чисто, вши не кусают. Каждое утро – какава с сахаром… По семь кусков в кружку кладут!

– А что такое – какава?

Кузьма Пряхин, кузнец из-под Коломны, расчистил дальний угол окопа и аккуратно раскручивает там неразорвавшиеся снаряды. «Отойдите, братцы, рванет же ненароком», – бурчит он, но зеваки все равно толкутся рядом. Кузьма ищет неповрежденные направляющие кольца – медные, их можно переделать в браслеты. Он щедро одаривает ими сослуживцев – а те мечтательно хвастаются, как порадуют безделушкой жинку, невесту или дочь.

Навицкому становится горько. Он пытается вспомнить хотя бы одну девушку из своего мирного прошлого – но не выходит. Словно мутная пелена легла на все, что существовало ранее.

До его ушей доносится странное, тонкое треньканье. Навицкий вздрагивает: новый вид германских снарядов? Ах, нет – юный Филька смастерил из фанеры и обрывков телефонного кабеля – кстати, почему так и не починили? неужели их боевой отрезок настолько не важен? – что-то вроде гуслей, и сейчас лениво перебирает заскорузлыми пальцами струны.

Трррень… трррень…

Это не музыка, нет, в ней нет ни ритма, ни мелодики, ни внутренней силы – просто звук, звук ради самого себя, ради существования самого себя – звука, отличного от воя, гула, уханья, эханья, грохота, треска, визга, клекота… Обычного, мирного звука.

Навицкий опирается спиной о стенку окопа, потуже запахивает на себе какую-то, подобранную час назад, дерюгу и садится, вытянув ноги.

Трррень…. трррень…

Его глаза слипаются.

Мир начинает плавиться и скользить, реальность течет, как мороженое на солнцепеке.

Трррень… трррррень…

Ему снится детство. Бабкина усадьба под Москвой. Бабка из старых, родители говорят, что ее качал на коленях сам Пушкин. Пятилетний Алешенька не верит в эти байки – Пушкин же вот, кудрявый и суровый, на маменькиной литографии на комоде, мертвый давным-давно, еще раньше деда – а бабушка живее всех живых, курит крепкую солдатскую махорку и непотребно орет на кучера, забывшего обтереть ее любимую вороную Капельку.

Запахом махорки пропитан весь дом – кажется, даже над горячим киселем клубится не сытный ягодный дух, а терпкая мужская вонь. Маменька морщит нос, папенька вздыхает и шепотом просить не огорчать бабушку – иначе отпишет наследство двоюродной тетке. Алешенька не видит в том большой беды – но он послушный мальчик, и поэтому каждый вечер целует бабушку в морщинистую щеку, стараясь не уколоться о жесткие волоски, растущие на подбородке и над верхней губой.

Они покорно приезжают в Дивеево по первому же приказу старухи, соскучившейся по внуку – и Алешенька отчаянно тоскует там. Тоскует в этом махорочном тумане, в теснине накрахмаленных простыней и салфеток, в звоне тусклого фамильного серебра. Тоска превращается в смурь – и по вечерам, заслышав в лесу за мостом глухой волчий вой, мальчик тоненько подвывает в подушку, как потерянный щенок.

Однажды, морозным ноябрьским утром, он сбегает из усадьбы. Подернутый инеем лес манит его – как манят сладости в коробке, которые запретили трогать до дня ангела.

Кто-то – может быть, управляющий – забыл ружье на крыльце, и Алешенька хватает обеими руками, прижимает к груди эту смертоносную тяжесть и бежит, бежит, бежит – пока дом не проснулся, пока не хватились, пока не отобрали сладости.

Трава, прихваченная морозцем, ломко хрустит под ногами. Холодный воздух чист и тонок до звона.

Из-под ног встрепанным облаком взлетает стайка каких-то пестрых птиц.

Алешенька аккуратно – точь-в-точь как учил отец – вскидывает ружье и быстро, практически не целясь, стреляет. Горестный крик раздается в середине стаи, и одна из птиц камнем падает на подернутую льдом лужицу.

Он, поскальзываясь, подбегает. Птаха еще жива, она бьется в агонии, распластав крылья, и жалобно косит карим глазом. «Надо свернуть ей шею», – вспоминает он уроки отца.

Алешенька сгребает добычу в охапку – та бьется, бьется, пронзительно вереща – хватает за голову и резко дергает. Раздается тихий хруст, теплое тельце обмякает. Алешенька с ужасом смотрит на оторванную голову птицы в своей руке. Кровь вытекает легкими толчками. Глаза стекленеют, подергиваясь смертной пеленой.

Ему потом долго снится это – изувеченная, окровавленная птица без головы. Он слышит ее жалобный крик в свисте ветра, в скрипе дверей, в звоне церковных колоколов –

даже в звяканье ложки о тарелку.

Бабушке не нравится, что внук бледен и мало кушает. Она сурово хмурится, бьет по полу клюкой, пыхает в лицо махорочным дымом. Мама бледнеет и шепотом упрашивает Алешеньку не гневить бабушку. Он покорно ест, давится, глотает, сцепив зубы – и вымученно улыбается бабке. Та удовлетворенно кивает.

– Просыпайтесь, поручик.

Обезглавленная птица кричит истошно, нутряно, судорожно дергая крыльями.

– Поручик!

Птичья голова выпадает из ослабевших пальцев и катится, катится, катится, подпрыгивая на кочках и рассыпая вокруг алый бисер крови.

– Поручик!

Реальность трещит и ползет по швам, как мундир из гнилой ткани.

– Поручик!

Трещины растут вширь, превращаясь в зияющие раны на теле мира. Оттуда сыплется песок, жирными пластами вываливается глина, вытекает болотная жижа, обгоняя друг друга, катятся земляные комья.

– Поручик!

Запах земли – пряный, терпкий, сытный – бьет в нос, обволакивает, проникает в горло и легкие. Он растет там, пухнет, как на дрожжах, вытесняя воздух, выдавливая ребра. На зубах хрустит песок, глаза слезятся черноземом, вместо языка – ком глины.

– Поручик, проснитесь!

По колено в жиже, покрытая пылью и суглинком, илом и торфом, в огромную, кровоточащую прореху, протискивается старуха.

Голая, она худа и страшна – иссохшие груди болтаются, как нестиранные тряпки, дряблая кожа обвисла, словно старуха напялила на себя чужую, пальцы скрючены, как сухие ветки. Тонкие губы кривятся в ухмылке, обнажая желто-серые зубы, глаза подернуты бельмами, ноздри кривого носа вырваны лохмами.

– Поручик!

Старуха смотрит на Навицкого. Белесый язык высовывается и дрожит между гнилыми зубами, как жирный червь – точно старуха ощупывает им воздух, пробуя запах человека на вкус. На секунду она замирает. Ее лицо искажается в гримасе ненависти.

– Поручик, вашу мать, подъем!

Он словно выныривает из глубины, судорожно глотая воздух. Сердце бешено колотится – до боли, будто выламывая грудную клетку. Руки дрожат, ноги онемели, на подбородке присохла слюна.

Лопухин смотрит на него со странной смесью нежности и брезгливости.

– Поручик, ну как можно так спать? Вы эдак и свою смерть проспите.

\*\*\*

С утра все подернуто багровой дымкой. Даже солнце кажется огромным кровавым пятном – словно кто-то выстрелил в небо и убил его наповал.

Они идут по окопу, проверяя посты. У Навицкого кружится голова, раскаленная игла боли пульсирует над правой бровью. Он покорно следует за Лопухиным, слабо цепляясь рукой за стенки окопа. Пальцы погружаются в холодную, жирную глину – и в памяти возникает ночная старуха.

Голова начинает болеть еще сильнее – словно кто-то шерудит ногтями в черепной коробке. В ушах трещит, свистит и хрустит – как будто закончилась граммофонная пластинка, и игла вхолостую подпрыгивает на черном, немом куске смолы. На мгновение Навицкому кажется, что в этом треске, свисте и хрусте кто-то зовет его по имени – но он трясет головой и наваждение исчезает.

Лопухин пинает лежащего в углублении для патронов солдата. Тот глухо ворчит, но не просыпается.

– Зачем? – спрашивает Навицкий, мучительно морщась. – Он же не на посту. Пусть спит.

Лопухин устало качает головой.

– Иначе не понять – спит он или умер. Двоих уже оттащили наверх, пока вы храпели без задних ног.

– Померли? – ахает Навицкий.

– Околели, – зло сплевывает Лопухин. – Руки-ноги не смогли им расправить, пришлось так перебрасывать через бруствер. Когда успели-то? Еще ж вечером живы были.

– Ноги надо беречь... – сонно бормочет солдат. – Нога – казенное имущество. Ежели нога сгниет – под суд пойдешь...

Лопухин делает знак остановиться и с любопытством прислушивается.

– Военная форма – это, значится, знак высокого отличия... – продолжает вещать солдат в полубреду. – Сам государь-ампиратор изволит ее носить...

Навицкий брезгливо наблюдает, как в бороде у солдата копошится вошь. Она то ныряет в густые, слипшиеся от слюны и соплей волосы, то снова выкарабкивается, резво перебирая лапками.

Вши везде – на гимнастерках, волосах, даже в обмотках. Они с Лопухиным, кажется, избавлены от них – во всяком случае, он точно, Лопухина же спрашивать стыдно.

Солдаты ежедневно устраивают ловлю вшей – вот и сейчас, как только посветлело, садятся в кружок и, гогоча, начинают лопать насекомых на скорость. Ему омерзителен этот тихий хруст, поэтому он отходит подальше, прячется за Лопухина, который наблюдает за происходящим с интересом естествоиспытателям.

Он уходит дальше, как можно дальше, пока голоса не становятся едва различимыми.

Здесь несколько солдат вгрызаются лопатами в грунт, удлиняя окоп. Земля – как пресное тесто, ползет и растекается, не держа даже иллюзию хоть какой-то формы. Стены окопа обваливаются каждый день – гнилые подпорки попросту не выдерживают.

Кто-то из солдат вызывается «метнуться до лесу, хучь бревнышко принесть». Другие пытаются остановить его, но тот лишь отмахивается, ловко перепрыгивая через бруствер. Навицкий не помнит его имени – кажется, Степан? или Семен? – знает лишь, что парень из донских казаков, попавший к ним после того, как его батальон разгромили… где? Где? Из памяти это стерлось мокрой тряпкой – как большая часть солдатских имен, как даты и время, как то, что он делал вчера и собирается делать завтра.

Степан – или Семен? – успевает сделать лишь десяток шагов. Добежать до выкорчеванного снарядом пня. Обернуться и весело махнуть товарищам.

Фьють! – птичьим свистом поет пуля.

Семен – или Степан? – спотыкается и падает, сложившись пополам, как детский солдатик на шарнирах. Все происходит очень быстро – и чисто: стреляет снайпер.

Фьють! Фьють! – пули свистят одна за другой.

Одному из солдат, обернувшемуся на выстрел, сбивает фуражку со лба на затылок. Эта же пуля прошивает другому, стоящему за его спиной, обе щеки. Кровь брызжет, как вода изо рта цирковых клоунов. Солдат воет от боли – а вой превращается в какой-то гул и свист, будто кто-то играет на расстроенной волынке.

Солдаты, побросав лопаты, поспешно уводят раненого.

Навицкий остается один.

Тучи – тяжелые, черные, неповоротливые – немо нависают над землей. Свинцовая тишина – как до этого были свинцовый смех, свинцовые вопли, свинцовое рыдание – давит и душит. Буря приближается. Как локомотив, застрявший на полустанке и опаздывающий к расписанию, она катится откуда-то оттуда, из-за края земли, из-за портьер туч.

Затихает ветер. Перестают вонять мертвецы. Даже миазмы испражнений стелются низко-низко, по самой земле, словно боясь напомнить о себе.

Скоро разразится буря.

Навицкий вслушивается в эту предгрозовую тишину. Он сидит за пластом отвала, невидимый для снайперов, спиной к германским окопам. Он смотрит на черную громаду мертвого леса. На перепаханную снарядами землю. На жирные кляксы трупов. На безмолвие, оцепенение и смерть.

Что-то шевелится в одной из воронок. Навицкий, напрягает зрение, всматриваясь: упрямая, выжившая крыса? шевелящийся от газов разлагающийся труп? неприятельский шпион?

Он никогда не жаловался на глаза – но сейчас никак не может разобрать, что же там, в сотне шагов? Он видит, что это – человеко-, несомненно уже, человекообразное! – облеплено грязью и землей, словно новорожденный голем выбирается на свет из глинистой матки.

Единственный в окопе бинокль у Лопухина – но Навицкому все еще стыдно возвращаться к солдатам. Поэтому он просто сидит и ждет.

Смотрит и ждет.

Ждет.

Существо копошится, тяжко вздыхая. Обгоревшие ветки деревьев качаются в такт этим вздохам.

Оно ворочается в липкой болотистой жиже, подгребает ее на себя, обмазывается ею – все, все, с ног до головы, превращаясь в огромный земляной ком. Оно бормочет что-то – сначала тихо-тихо, едва слышно, как легкое дуновение ветра, а потом все громче и громче, утробно, горлово, дребезжа и гудя. Навицкий слышит в этом бормотании мелодию, странно знакомую мелодию – брррррн, бррррррн, бррррррн. Он слышал ее, несомненно слышал – тогда, ночью, выходящей из-под ловких пальцев Фильки-гусляра!

Брррррн, брррррррн, брррррн…

Сухие пальцы гладят его голову изнутри. Они давят на какие-то точки в сером – о да, Навицкий теперь знает, что серое! он видел столько раз его, разбрызганным, разожженным, вытекшим! – с кроваво-красными прожилками веществе мозга – и его тело отзывается на это давление. Ноги чуть подергиваются, будто желая – желая самостоятельно! – встать, руки касаются земли, словно помогая ногам, по спине пробегает мышечная судорога.

Брррррн, брррррн, бррррррн…

Навицкий борется с ногами, руками – всем телом – но не может, не может противостоять этому зову. Он встает – встает во весь рост, краем сознания ужасаясь тому, что творит – ведь там же, за спиной немецкие снайперы! – и раскидывает руки в стороны, словно хочет объять весь мир.

Брррррн, брррррн, брррррн…

Он делает шаг вперед – и тут существо замечает его.

Замирает.

Затихает.

И тоже встает.

Песок и глина, которыми оно покрыто, исчезают на глазах, словно втягиваясь в него через кожу.

Навицкий видит дряблые груди, отвисшую кожу, скрюченные пальцы и злобную ухмылку.

Седые космы вяло шевелятся – точно черви присосались к старческому черепу. У глаз нет зрачков – только черные провалы, будто пустые глазницы набиты землей. Старуха не отбрасывает тени – словно вся тень, вся тьма, весь мрак – там, в ней, внутри, плещется и клокочет, выглядывая на секунду из глазниц.

Навицкий не может двинуться. Вот, еще минуту назад он был готов рвануться вперед, побежать на зов ведьмы – а теперь стоит, как межевой столбик, одеревеневший и немой.

Старуха смотрит на него, шевеля губами. Ее пальцы подрагивают – и словно откликаясь на эту дрожь, что-то снова ворочается в его черепе. Скребется. Царапается. Шуршит. Трещит граммофонной пластинкой. Хрипит звуками его имени.

– Поручик! – откуда-то издалека, как сквозь стеганое одеяло, доносится голос Лопухина.

Наваждение исчезает.

Перед ним лишь мертвая, изуродованная металлом и людьми земля.

\*\*\*

Наутро говорит тяжелая артиллерия.

Пулеметный стрекот и татаханье шрапнели меркнет и бледнеет перед этим густым и беспощадным – бзззз-трах! И тут же тебя словно что-то бьет в грудь, вышибая воздух из легких.

Земля дрожит и гудит – вздыбленная минами, перепаханная снарядами, она содрогается, как сонный гигант в мучительном болезненном пробуждении.

Все пропитано звуками: камни, дерево, глина, песок… Они проникают в кровь и плоть и выворачивают наизнанку. Дробно татахает шрапнель, гулко воют тяжелые снаряды, надрывно, чахоточно кашляют пулеметы – воздух густеет, спрессованный металлом, и разлетается в клочья после каждого взрыва. Навицкому кажется, что он слышит какие-то обрывки фраз, куски слов – прилетевших оттуда, с германской стороны, оседлавших снаряды и шрапнель. Он кричит в запале что-то обратно, вперед, что-то, несомненно, ругательное и очень, очень грубое – но не слышит этого, посылая свои слова верхом на пулях, как первый и последний едкий привет.

Солдаты вжимаются в стенки окопа, втягивают головы в плечи – всеми силами стараясь стать меньше, незаметнее, ничтожнее, втянуться в землю, врасти в землю, стать землей

Снаряды входят в стенки окопов, вспахивая их, выворачивая наизнанку. Бревна-подпорки торчат, как ребра обнаженной грудной клетки.

«Двести тысяч снарядов в день», – зачем-то вспоминает Навицкий лекцию в штабе. Двести тысяч снарядов в день выпускают германские батареи. И это только тяжелый калибр. А шрапнель! А ручные гранаты! А пулеметные пули!

Тах! Тах! Тах! Трах!

Удушливая смрадная волна докатывается до окопа – взрывная волна потревожила гниющие в воронках трупы.

Бу-бух! Бу-бух!

Германский аэростат, подожженный снарядом, вспыхивает, на глазах превращаясь в обугленный черный остов.

Навицкий смотрит вперед. Смотрит на германские окопы. Вглядывается до боли в глазах в фонтаны земли, вздымаемые снарядами.

Он смотрит вперед. Изо всех сил смотрит вперед.

Только вперед.

Потому что однажды он уже оглянулся.

И увидел, как на бруствере их окопа стоит старуха.

Стоит, неуязвимая для пуль и снарядов, осколков и искр.

Стоит, вцепившись крючковатыми пальцами в воздух.

Стоит, раззявив рот в беззвучном вопле.

И понял – что стоять она тут будет вечно. Когда закончится война и затянутся раны окопов, когда их кости сгниют в могилах, а потомки забудут имена – и даже когда, мир, содрогнувшись в агонии, обновится, словно змея, мучительно сменившая кожу – и тогда она будет стоять тут.

Поэтому он смотрит вперед.

Не видя ничего.

\*\*\*

Хлеб замерз. В нем хрустят иголки льда.

– Мне казалось, что сейчас август, – говорит Навицкий Лопухину, мелко стуча зубами.

Тот качает головой.

– Ноябрь. Самый конец. Число двадцать пятое.

– Но еще пару дней назад было лето! – восклицает Навицкий. – Я же помню, было лето!

– Ноябрь, – упрямо повторяет Лопухин. – Не спорьте с высшими чинами, поручик.

Навицкий послушно замолкает и трет виски. Голова раскалывается от мучительной, дробной боли – кто-то колючий поселился у него в черепе и ворочается там, не находя места. «Занедужил», – приходит какое-то чужое, несвойственное ему слово. Навицкий трясет головой. «Занедужил, касатик».

Краем уха он улавливает обрывки солдатских разговоров. «Клинья», «переезды», «осьминники» – слышится ему.

– О чем они? – спрашивает Навицкий.

Лопухин прислушивается.

– О земле, – отвечает, наконец, грустно улыбнувшись. – О земле, о весеннем севе. Как вернутся домой, как возьмут плуг и…

Он вздыхает и машет рукой.

«Касатик», – скребется о стенки черепа. «Занедужил», – шуршит костью о кость.

– Вы уверены, что сегодня ноябрь? – слабо спрашивает Навицкий, прислонившись горячим лбом к холодной глине окопа. – Газет не было так давно, да и писем тоже… Куда задевалась почта?

\*\*\*

Старуха приходит к ним ночью.

Гладит сухими пальцами лица спящих, скалит зубы тем, кто вздрагивает и оборачивается, почуяв, что-то чужое, чуждое, чужеродное. Ее никто не видит – кроме Навицкого.

Он не хочет, чтобы она об этом знала, поэтому закрывает глаза, притворяясь спящим. Костлявые пальцы касаются его век, проходят по щекам, замирают и чуть подрагивают на губах – словно старуха читает его дыхание. От них пахнет землей. Печеной картошкой. Лужей после дождя. Горячий песком на пляже в Ялте.

Острый ноготь чуть царапает его губу. Теплое и солоноватое выходит из его кожи. Чужой палец жадно гладит ранку, припадает к ней, как изголодавшийся – и сосет, сосет, сосет это теплое и солоноватое из его сердца.

– Поручик, вы что, землю жрали? – спрашивает его наутро Лопухин.

На зубах хрустит песок, лицо стянуто глинистой коркой, сердце словно придавлено россыпью камней.

\*\*\*

В воздухе – водяная пыль. Мелкий, серый, мягкий дождь трусит с утра, завешивая все вокруг мутной пеленой.

– Вы видели их? – тихо спрашивает Навицкий у Лопухина.

– Кого?

– Их... – неопределенно мотает головой в сторону чужих окопов. – Германцев. Врагов.

Лопухин пожимает плечами.

– Мне даже не надо видеть. Мне достаточно обонять. Кстати, поручик, вы заметили, что капрал у березового пня несколько… разжижился?

– Нет, нет, – шепчет он, словно мертвецы могут услышать и обидеться. – Нет, я не про них... я про живых. Вы видели их... живыми?

– Ну конечно. Послушайте, я ходил в атаку и...

– А когда, когда это было?

Лопухин морщит лоб, припоминая. Глина, облепившая его лицо, лопается и идет трещинами.

– Месяца три назад, – медленно говорит он. И добавляет неуверенно: – Кажется.

– Там, – Навицкий делает жест в сторону германских окопов. – Там может быть пять тысяч человек. Может быть, десять тысяч. А может быть, всего лишь сотня. Но мы никого не видим. Не видим живыми. Не видим, кто обрушивает на нас снаряды, кто пускает газы, кто частит очередью из пулеметов. Да, мы иногда замечаем за траверсом чужие каски, но...

Лопухин поднимает палец, призывая к молчанию.

– Тссс! Слышите, поручик?

Звякает лопата. Кто-то на той стороне работает в окопе. Мертвая, пугающая тишина. Шелест выкидываемой за бруствер земли.

– Я слышу, – упрямо говорит Навицкий. – Но не вижу.

– Они тоже не видят нас, – улыбается Лопухин. – Но это не означает, что мы не существуем. А, поручик? Мы же существуем, не так ли?

Навицкий угрюмо молчит.

\*\*\*

– Кто у нас из вольноопределяющихся? – спрашивает Лопухин.

Навицкий приглядывается к трупу в воронке. Головы нет. Ног тоже. Лишь кусок торса – живот и плечи. Красные погоны с пестрыми кантиками по краям.

– Филимонов? – мучительно извлекает он из памяти. – Я не видел его с вечера. Зачем он полез туда?

Лопухин не видит, как над трупом Филимонова сидит старуха. Как она раскорячилась над ним в бесстыдной, непристойной позе – выворотив наружу всю свою женскую требуху.

Как оттуда, откуда появляются дети, на Филимонова падают сырые комья свежей земли.

\*\*\*

Лопухин жует воздух. Желваки на скулах ходят, как камни.

Наконец, он упрямо мотает головой.

– Будь что будет, Бог не выдаст, немчура не съест, – шепчет Навицкому.

А потом орет во все горло:

– Ура! В атаку! Ура, братцы! Вперед!

И бросается вперед – первым.

Навицкий смотрит ему в спину, охваченный секундной слабостью – как, вот так? Как, уже конец бесконечному сидению в их бескрайнем окопе? Окопе, к которому он привык, с которым сроднился, который…

– Ура! – оглушает вопль из сотни глоток. – В атаку, братцы!

Словно волна прибоя в шторм сбивает его с ног и тащит за собой людская лавина. Он видит выпученные от страха глаза, оскаленные в предвкушении бойни зубы, мертвенно-белые пальцы, сжимающие винтовку. Солдаты бегут со звериным, нечленораздельным ревом, заглушая и треск шрапнели, и захлебывающееся харканье перегревающегося пулемета, и хриплый вой снарядов – бегут, падают, умирают, перескакивают через мертвых, теряют руки и ноги… Каждый труп – свежий или месячной давности – спасение, укрытие, шанс сделать еще хотя бы десяток шагов к врагам.

Он догоняет Лопухина. Тот оборачивается. В глазах горечь и безумие. Около рта пролегли тяжелые, глубокие складки.

– Я понял, поручик, – жарким шепотом бормочет он. – Я понял, почему мы не видим их.

– Кого?

– Я понял, понял…

Оглушительно разрывается снаряд, на мгновение погрузив мир в вопль раскаленного металла. Их осыпает грязью, камнями, комьями земли, песком – и Навицкий теряет Лопухина из виду.

Визжит шрапнель.

На голове дергается фуражка – будто шаловливый мальчишка пытался ее сбить, метнув камень.

Архип, не выпуская изо рта неизменной самокрутки, пробегает мимо, успевая залихватски подмигнуть. Ему сносит голову осколком через секунду – начисто, как нож полоснул по маслу – и та катится, катится, катится, подпрыгивая на кочках и рассыпая вокруг алый бисер крови – а Навицкий слышит, слышит, слышит истошный птичий крик – но тело еще бежит, делая с десяток шагов, прежде чем рухнуть в мясо-земляное месиво.

Рядом падает Филька – успев лишь вскрикнуть от удивления, когда снаряд навылет пропахивает его тело и уходит дальше, к окопу, унося на себе мотки кишок и розовато-багровую требуху.

Вокруг хаос ужаса и смертельной тоски, агонии и усталого оцепенения. Навицкий бежит вперед – потому что не может не бежать, потому что он должен бежать, потому что все его существо подчинено одной лишь, какой-то животной, мысли – бежать! Бичом хлещут пули, иссекают воздух осколки шрапнели, безжалостно буравят дыры в пространстве снаряды.

Лопухин хрипит на сырой земле, вяло поводя ослабевшими руками. Он дышит резкими толчками, но его ноздри недвижимы: воздух втягивается в впалую грудь через зияющую рану на горле. Его глаза – как у затравленного зверя, он пытается что-то сказать, но лишь булькает и клокочет сгустками крови.

Навицкий падает рядом с ним на колени, пытается зажать руками рану – но пальцы проваливаются в теплую, мягкую, кровавую бездну.

– Штабс-капитан, – шепчет он. – Штабс-капитан… – осознавая, что не помнит, забыл, потерял в мутном прошлом его имя.

Лопухин слабо поднимает руку, указывая куда-то за спину Навицкому. Первый раз за все время его глаза смотрят одинаково. Рука падает плетью. Взгляд стекленеет.

Навицкий проводит грязными окровавленными пальцами по векам покойного – и бежит дальше.

Раненые кричат, агонизируя в воронках. На них сыплются комья земли, их топчут сослуживцы, прокатываясь лавиной, не разбирая, что там под их ногами – камни, глина, вода или плоть. Сгнившие трупы взрываются удушливой вонью, стоит их только задеть – они лопаются с тихим чваканьем, истекая гноем и лимфой.

Навицкий бежит, бежит, бежит – все его существо погружено в это одно-единственное действие. Он видит просвет в проволочных заграждениях – и легко, словно на гимнастике, перескакивает его.

Людская волна ударяется о неприятельский бруствер, как о берег – и рассыпается человеческими брызгами.

Навицкий врывается в окоп.

Там тихо.

Какой-то солдат сидит, прислонившись к стенке и вытянув ноги. Он весь покрыт землей, грязь даже на его лице – схватившись настолько плотной коркой, что и черт не разобрать. Он спит, обессилев от усталости, страха и напряжения.

– Эй, – Навицкий трясет солдата за плечо. – Эй, ты…

Пласт земли сползает с лица…

… нет, это не лицо, это затылок!

Навицкий хрипло вскрикивает и отшатывается.

То, что он принял за сидящего человека, оказывается переломанным в хребте, вывернутым в обратную сторону, трупом.

Навицкий пятится, пытаясь успокоить дрожь в руках.

Из полумрака выходит солдат.

Это русский, русский солдат – и он помнит его, это тот самый паникер, срывавший противогаз! Его глаза растерянно шарят по лицу поручика, лицо озабочено, губы едва шевелятся.

– Что вы ищете? – спрашивает Навицкий, тяжело дыша.

– Личинок, личинок, – бормочет солдат.

– Что?

– Червячков таких… махоньких… беленьких… из них мухи вылупливаются…

– Зачем вам мухи? – он не понимает, совершенно не понимает, о чем идет речь.

– Не мухи, не мухи… личинки, личинки… Если в тебя пуля попадет, а в ране личинки заведутся – то хорошо, хорошо… они гной пожрут, огонь вытянут, лихорадку успокоят… Рана чистой будет. А иначе – антонов огонь, огонь, огонь… Вашблагородие, у вас нет личинок, а?

– Н-нет, – мотает головой Навицкий.

– Личинок, а? Ну хотя бы горсточку, а? Личинок, личинок, личиночек? Вам не выдали, вашеблагородие, а?

Навицкий продолжает мотать головой и отступает – наощупь, шаря руками за спиной.

Солдат продолжает бормотать, опустившись на колени перед изуродованным трупом. Он начинает копаться в нем, разрывая плоть, расковыривая гниющие раны.

– Личинки, личинки, личиночки, – шелестит он уже едва слышно.

Навицкий идет по окопу, крепко сжимая оружие. На удивление тихо. Не слышно немецкой речи. Нет криков о пощаде. Нет даже воплей ликования – победа ведь! Победа? Но окоп пуст. Где германцы? Где те снайперы, которые не давали им поднять головы? Где пулеметчики, поливавшие их свинцовым дождем. Где – все?

Где?

Он слышит приглушенные голоса и, разобрав русскую речь, спешит туда.

Да, солдаты сгрудились тут, в одном из ответвлений окопа. Они о чем-то переговариваются, плывет знакомый едкий дымок травяного курева…

Не может быть.

– Штабс-капитан? – окликает Навицкий Лопухина.

Тот поднимает голову.

Поднимает голый череп с прядями давным-давно истлевших волос. Единственный, иссохший в глазнице глаз – левый – смотрит куда-то за плечо Навицкому. Крупные зубы скалятся в вечной, застывшей ухмылке. Белесая щеточка проросшей неведомым образом травы нависает над ними.

Он умер давным-давно. Может быть, в самом начале войны. Может быть, он уже пришел на нее мертвецом.

Навицкий пятится. Запинается о какого-то солдата. Оборачивается, хватая его за плечи, чтобы спросить – видит ли тот, что видит он… Но солдат тоже мертв. Таращит пустые глазницы. Скрипит иссохшими суставами.

– Осторожно, вашеблагородие, – говорит голосом Кузьмы. – Я тут снарядики разложил, не наступите.

Они здесь. Они все здесь – все, кто поднялся в атаку, кто пал на поле, кто умер в окопе, кто сгнил за бруствером. Скалятся и щерятся, разлагаются на глазах, теряя плоть, как гниющую одежду.

Навицкий моргает. Раз, два. Слезы омывают измученные глаза – и морок спадает.

Лопухин улыбается, потирая рукой свежевыбритую щеку. Кузьма, прищурившись, разглядывает медное кольцо. Архип с любовью трудится над самокруткой. Филька заменяет лопнувшую струну на своих гуслях. Степан – или Семен? – лихо приглаживает пятерней русый чуб.

И окоп, окоп вокруг – не германский, нет, не чужой, шире и глубже, притоптанный и присыпанный – нет, это их, их, родной окоп, набивший оскомину за долгие дни, недели, месяцы, годы сидения в нем. Навицкий узнает каждый осколок, намертво впившийся в глиняную стенку, каждую дырку от пули, каждый съехавший пласт земли.

– Мы же шли в атаку… – растерянно бормочет он.

– В атаку? – спрашивает Лопухин. – Господь с вами, поручик, какая атака? Кабель перебит, приказа не было.

В голове – дикий старушечий хохот. Костлявые пальцы выбивают какой-то ритм по стенкам черепа. Сквозь поры кожи проступает песок. В груди каменеет ком глины.

Навицкий разворачивается и бежит – прочь, прочь, неважно куда, лишь бы прочь.

Он петляет по окопу, сворачивая то вправо, то влево, то снова пробегая то место, где когда-то был – словно мчится по пустой и влажной кишке гигантского животного. Ноги разъезжаются на скользкой жиже, липкая топь хватает за щиколотки и тянет к себе – в себя. Он слышит обрывки солдатских разговоров, гулкий хохот и вопли боли – но не видит, не видит, не видит больше никого.

Он упирается в тупик.

Стена земли высится над ним – гладкая, немая и безучастная. Где-то там, далеко, над ней – черные верхушки мертвых деревьев.

Он впивается пальцами в землю, пинает ее ногой, пытаясь выбить ступеньку – и выбраться, выбраться, прочь, отсюда, хоть куда-то!

Он делает движение вверх, подтягивая себя на кончиках пальцев – и тут же стена вырастает вверх на вершок. Еще один, отчаянный рывок – и снова земля над ним, сырая и холодная земля.

Он ползет так часы, дни, недели, месяцы, годы – потеряв счет времени, не ощущая своего тела, лишь чувствуя пульсирующую боль над правой бровью. Он даже не слышит стука сердца – только эту острую боль, как кто-то проворачивает коготь у него в черепе.

Наконец, выброшенная в очередной раз вверх рука наталкивается на пустоту.

Он встает на ноги над окопом и оглядывается. Земля перепахана, изъедена, изуродована. Окоп зияет незаживающей язвой, в которой, как гной, клокочут и копошатся люди.

Вокруг него – небывалая пустота. Часовым боем грохочут пушки, звонко татахает шрапнель, клекочет пулемет – но все это где-то там, там, далеко, там, где смотришь снизу вверх из-под глинистого края мира.

А сейчас вокруг – пустота.

Весь мир погружен в густое, непроницаемое молчание. Навицкий краем глаза видит, как поднимается его окоп в атаку – какую по счету бессмысленную, невозможную, ненужную атаку за эти месяцы? а может быть, годы? Видит, как снаряды вспахивают землю, вздымая к небу и низвергая обратно ливень грязи, комьев и камней. Видит, как замирает Лопухин, словно натолкнувшись на невидимую преграду – и судорожно хватает серые, влажные ленты, вываливающихся из живота кишок, сгребает их обратно и тяжело, ковыляя и приволакивая правую ногу, бежит дальше.

Навицкий отворачивается и медленно идет к лесу.

Ему кажется, что он вернулся в бабкину усадьбу. Так же терпко пахнет махоркой, так же сперт и недвижим воздух, такие же бархатные – только черные, а не узорчатые – подушки разбросаны вокруг.

Ему кажется, что его мир – весь, начиная от самого детства до нынешнего момента – рассыпался, как мамино рукоделие из шкатулки – вперемешку, иглы с лоскутками ткани, бисер с нитками – рассыпался окончательно и безвозвратно, без возможности собрать, починить, склеить, разложить по местам.

Бархатные подушки шевелятся, распадаются на хлопья – и в воздух поднимаются иссиня-черные мухи. Трупы, что они скрывали под собой, совершенно разложились, превратились в человеческий суп, жижу, перегной. Они кормят собой жадную, изголодавшуюся землю, отравляя своим ядом, медленно убивая – как когда-то убили их. Они не щадят ее – как когда-то не пощадили их.

Старуха сидит на корточках и ждет его.

Завидя Навицкого, она встает во весь рост – выше, выше, выше любого человека.

– Мать! – кричит Навицкий, падая на колени и протягивая руки к этому жуткому иссохшему существу. – Матушка земли, прости меня! Не ведал я, что творю, не ведали все мы!

Старуха смотрит на него, пережевывая чернозем. Из уголков огромного рта, которые зияют около ушей, текут густые, черные слюни. В их извиваются дождевые черви.

– Матушка, не ведали мы, – всхлипывает Навицкий. – И они, они! – он тычет рукой в сторону германских – да есть ли они, эти германские? – окопов. – Они тоже! Не ведали!

Глаза старухи – черные провалы. Кротовьи норы. Ходы в бесконечность и неизвестность. Навицкий проваливается в них, проваливается в эту бездну, как девочка Алиса из английской книжки – все глубже и глубже, глубже и глубже…

Все вокруг становится зыбким, подергивается рябью, начинает расходиться медленными и ленивыми кругами – и он сам, сам Навицкий превращается в один из этих липких, мертвых кругов.

Он падает в небытие – и тонет в нем, как в холодной тяжелой воде. Он изо всех сил напрягает мускулы шеи – так, что судорогой сводит челюсти – он запрокидывает голову: чтобы высунуть из этого небытия хотя бы нос и вдохнуть воздуху – пусть и вонючего, но такого реального в своем смраде... Небытие плещет ему в глаза, захлестывает рот – и тянет, тянет, тянет в себя…

– Матушка… – исторгает он из себя мучительно. – Матушка сырой земли, прости нас…

Старуха разевает пасть. Та растет все шире и шире, словно опоясывая голову по кругу. Верхняя часть опрокидывается назад – как крышка у музыкальной шкатулки. И оттуда, из самой глубины нутра вырывается воронья стая. Птицы устремляются в небо, словно старуха блюет ими – и рассыпаются там черным жемчугом.

– Матушка! Прости! – крик рвется из него с кровью и кусками легких – как искупительная жертва, которую он приносит за себя и за всех, кто не ведал.

И ответом ему становится вороний грай.

Птицы падают с неба тяжелым, жестким дождем. Они бьют его по голове, плечам, спине, погружают клювы в плоть и вырывают куски – тут же жадно, поспешно глотают, давясь и отрыгивая.

Он смотрит в черные провалы. В кротовьи норы. В ходы в бесконечность и неизвестность. В чернозем, в песок, в глину. В осьминники и клинья, «переезды» и пахоту. В рассыпчатые клубни печеной картошки, в пареную золотистую репу, в пористый, душистый каравай хлеба.

Вороны пожирают его, набивая им брюхо.

Он покорен и тих.

С птичьим пометом он вернется в землю.

В мать – сырую землю.

Международный литературный конкурс «Пролёт Фантазии» - [http://fancon.ru](http://fancon.ru/)